МАКСИМ ЯКИМЕНКО



ВНЕШНИК

КНИГА ВТОРАЯ

ДВЕРЬ

Максим Якименко

Внешник. Книга вторая. Дверь

https://litres.ru/74982862
SelfPub; 2026

Аннотация

После того, как закрылась дверь. Мир забывает тех, кого нет в описи. Забывают деревни, дома, людей, слова. В деревне Ольхи живёт девочка, которой нет ни в одной книге, — и потому её нельзя стереть. Но можно забыть. Мрачное фэнтези о памяти и реестре.

Содержание

Глава 1. Утро 5
Глава 2. Сосед 17
Глава 3. Пропажа 29
Глава 4. Мать 41
Глава 5. Тракт 51
Глава 6. Заречье 63
Глава 7. Перепись 73
Конец ознакомительного фрагмента. 81

Максим Якименко
Внешник. Книга вторая. Дверь

Название: Внешник. Книга вторая. Дверь
Автор(-ы): Максим Якименко
Ссылка: https://author.today/work/678627

Глава 1. Утро

Санька просыпалась раньше всех — не по привычке и не из добродетели, а потому что в их доме было одно окно, и оно смотрело на восток. Когда вставало солнце, свет ложился ей на лицо, тёплый и красный, и лежать с закрытыми глазами становилось бессмысленно. Она всё равно лежала и считала до тридцати — так было заведено ещё при отце: тридцать вдохов, и на тридцатом вставать. На двадцать восьмом она сбилась, потому что за стеной мышь тащила что-то тяжёлое и шуршала так, что казалось, будто по полу волокут мешок.

Дом был низкий, вросший в землю по самые окна, и от этого в нём всегда пахло сыростью и старым деревом. За ночь печь остыла, но тепло ещё держалось — не от печи, а от людей, от спящего Митьки, от их дыхания, которым пропитались дерюга и шкуры на лавке. Санька сунула ногу в валенок, поёжилась: пол был ледяной, с той стороны, где отходила доска, тянуло сквозняком, и сквозняк пах мокрой землёй.

Митька спал на печи, свернувшись в три погибели, как спят дети, которых всегда знобит. Ступня торчала из-под дерюги — худая, грязная, с обкусанным ногтем на большом пальце. Санька подоткнула дерюгу. Он что-то пробормотал, не проснувшись, подтянул ногу и засопел громче.

Мать уже не спала. Она сидела на лавке у окна — прямая, в накинутом на плечи кожухе, — и смотрела в него. За окном

было серо: до рассвета оставалось ещё с полчаса, и двор лежал сизый, как остывшая зола. Мать сидела так каждое утро, и каждое утро Санька заставала её в одной и той же позе, с одними и теми же руками на коленях.

— Мам.

— Чего.

— Ты чего не спишь?

— Не спится, — сказала мать, не оборачиваясь.

Это повторялось каждый день, и Санька давно перестала спрашивать. Она думала, что так бывает у всех старых: человек спит мало, а живёт много, и сон у него выходит весь ещё до света.

— Печь растопи, — сказала мать. — И Митьку не буди. Пусть поспит, ему расти.

Санька взяла растопку — сухую бересту и щепу в плетёной корзине, — присела у чела печи и стала набивать. Береста была старая, с белыми полосами, и она крошилась в пальцах, оставляя на коже сухую пыль. Санька набивала её в горло печи плотно, как учила бабка: чтобы воздух шёл снизу, а не сверху, иначе огонь пойдёт не туда и дым повалит в комнату.

И вот про это она думала каждое утро, пока набивала.

Левая рука была длиннее правой. Не сильно — на полпальца, может, на палец, — но длиннее, и это было видно, если приглядеться. Особенно по локтю: когда она мыла полы, левый локоть выходил дальше, чем надо, и весь её на-

клон получался кривым, будто она всё время загребала влево. Санька прятала её всю жизнь. Носила длинные рукава даже летом, в жару, когда все ходили с закатанными по локоть; держала левую за спиной или в кармане; научилась делать всё правой — чистить картошку, доить, мешать в горшке, колоть щепу. Делала так ловко, что мать хвалила её за сноровку.

— Ты у меня ловкая, — говорила мать. — В бабку пошла.

Санька кивала и прятала левую руку за спину.

А рука была тёплая. Она всегда была тёплая — даже в мороз, даже когда все пальцы на правой белели от холода и не гнулись, даже когда она держала ими снег. Санька не знала почему. Она думала об этом иногда, лежа ночью и глядя в потолок, где в темноте не было видно ни балок, ни паутины, и не находила ответа. Рука была тёплая, и всё. Как чужая вещь, которую забыли вернуть, и она лежит на полке, и никто не помнит, чья она.

Огонь разгорелся, береста затрещала и свернулась, и в доме запахло дымом — горьким, знакомым до тошноты, тем самым запахом, который потом оставался в волосах до вечера. Санька поставила воду и вышла на двор.

Двор был маленький: поленница под навесом, курятник, покосившийся сарай, у которого дверь ходила на одной петле и которую надо было приподнимать, чтобы закрыть. За плетнём — огород, за огородом — поле, а за полем — Кромка.

Она видела её каждый день, и каждый день не могла к ней

привыкнуть.

Кромка начиналась сразу за речкой. Трава там была жёсткая, серо-бурая, как проволока, и стояла ровно, не шевелясь, даже когда ветер гнул всё остальное — и мокрую траву у речки, и ольхи на том берегу, и бельё на их же верёвке. От неё шёл запах, который Санька не могла описать: не гнилой и не горелый, а какой-то пустой, как из открытого погреба, в котором ничего нет, — и когда ветер оттуда доходил до двора, у Саньки начинали чесаться глаза.

Раньше — года три назад — она ходила туда. Просто ходила: садилась у вешки и смотрела. Ей казалось, что оттуда видно дальше, чем с обычного места. Потом перестала. Не испугалась — просто поняла, что не надо, как понимаешь, что не надо трогать горячее: не умом, а рукой.

— Санька!

Она обернулась. Мать стояла в дверях, в кожухе на плечах, и держалась за притолоку.

— Чего?

— Ты чего тут стоишь?

— Воду ставлю.

Мать посмотрела на неё странно — так, как смотрят на человека, который говорит не то, что надо. Санька показала на печь, на чугун, на дымок над ним. Мать перевела глаза на печь, потом на дочь, потом опять на печь.

— А, — сказала она. — Ну да.

И ушла в дом. Санька постояла ещё немного, глядя на

Кромку, — трава стояла ровно, как её положили, — и пошла следом.

К обеду пришёл писарь. Он приходил два раза в год — весной и осенью, — и его приход означал, что всё будет пересчитано: люди, дворы, скот, колодцы. В деревне его не любили, но встречали вежливо, потому что от него зависело, сколько с деревни спросят податей.

Писарь был немолодой, сухой, с длинной шеей и воротником, который ему всегда был велик. Он носил через плечо сумку из телячьей кожи, потёртую до белизны по краям, и в этой сумке лежала книга — толстая, в досках, обтянутых холстом. Он входил, ставил сумку на лавку, разматывал ремешок и вытирал руки о штаны, хотя руки у него были чистые.

— Здорово, — сказал он, входя.

— Здорово, — сказала мать.

Он сел за стол, вытер лицо платком и раскрыл книгу. Санька принесла ему воды, и он выпил, не поблагодарив, — не из злости, а потому что не замечал.

— Ну, — сказал он. — Кто в доме?

— Я, — сказала мать. — И дети.

— Дети — это сколько?

— Двое. Мальчишка и девка.

Писарь послюнявил палец и стал листать. Санька стояла у печи и смотрела. Она видела эту книгу дважды в год всю жизнь, но никогда не видела, что в ней. Страницы были плот-

ные, желтоватые, исписанные мелко, ровно, в две колонки; от книги пахло клеем и пылью, и пыль эта была особенная, не такая, как в доме, — сухая и чистая, как в церкви.

— Ольхи, — бормотал писарь. — Двор на два окна, печь, поленница... Мальчишка, шесть лет, Митька. — Он поднял голову. — Так?

— Так, — сказала мать.

— А девка?

— Санька.

Писарь повёл пальцем по странице. Потом вернулся. Потом перевернул лист и провёл снова.

— Нет, — сказал он.

Мать не поняла.

— Чего нет?

— Девки нет, — сказал писарь. — В списке.

В доме стало тихо так, что стало слышно, как в печи шевелится зола. Санька стояла и ждала, что мать засмеётся. Или обругает писаря — она умела ругаться так, что соседи выходили на крыльцо. Или скажет: «Как это нет, когда вот она стоит».

Мать посмотрела на неё. Спокойно, без всякого удивления. Как смотрят на вещь, которая стоит на своём месте и мешает.

— Девка, — сказала она. — Какая девка?

Писарь поднял голову. Он смотрел на Саньку долго — так долго, что она успела увидеть у него на носу волосок и каплю

пота над губой, — потом опустил глаза в книгу.

— Стало быть, — сказал он ровно, — двор на два окна, печь, поленница. Мать. Мальчишка, шесть лет.

— Мальчишка, — повторила мать.

— Так и запишу.

Он обмакнул перо и стал писать. Санька слышала, как скрипит перо по бумаге: коротко, сухо, как хрустит солома.

Она вышла на двор. Солнце стояло высоко, и двор был обычный: куры, поленница, сарай с дверью на одной петле. Всё как всегда. А внутри было так, будто её вынули оттуда и поставили рядом.

Вечером пришёл Коваль. Кузнец, большой, с обожжёнными руками и седой бородой, которая росла неровно, клочьями, — он всегда заходил к ним по пути с дальнего конца деревни. От него пахло железом и кислым, и руки у него были в саже по самые локти, и он этого не стеснялся.

— Здорово, — сказал он. — Санька, дай воды.

Она дала. Он выпил залпом, вытер рот ладонью и сел на лавку; лавка под ним скрипнула и прогнулась.

— Слышь, — сказал он. — Дочка моя где?

Мать подняла голову.

— Какая дочка?

— Дашка. — Коваль смотрел на неё. — Ты чего, не знаешь? Дарья. Двадцать годов. В город ушла прошлой весной, писала оттуда.

Мать молчала.

— Коваль, — сказала Санька.

Он обернулся.

— Чего?

— У тебя нет дочки.

Кузнец смотрел на неё долго. Потом засмеялся — коротко, невесело, будто кашлянул.

— Ты чего мелешь?

— Коваль.

— Да.

— У меня дочка. — Он встал. — Дарья. Она мне писала. Она...

Он замолчал.

Санька видела, как он вспоминает. Он вспоминал, стоя посреди чужого дома, с пустой кружкой в руке, — и по его лицу было видно, как вспоминание уходит, как вода из треснувшего горшка: сначала быстро, потом по капле, потом ничего. Сначала пропало лицо — Санька видела, как он ищет его у себя в голове и не находит, — потом голос, потом руки.

— Коваль, — сказала Санька. — Сядь.

— Я не хочу садиться.

— Сядь, — сказала она. — Ты сейчас упадёшь.

Он посмотрел на неё, как будто впервые видел, и сел. Кружка в его руке мелко дрожала.

— У меня была дочка, — сказал он тихо. — Я помню.

— Помнишь, — согласилась Санька.

— Я помню, как она родилась. — Он смотрел в стену.

— Зимой. Мороз был, бабка пришла, а я стоял в сенях и слушал. Она кричала, а потом перестала, и я подумал: всё, померла. А потом бабка вышла и говорит: «Девка». Я тогда сел прямо на пол в сенях и заплакал. От радости. Мужик, а плакал.

Мать сидела у окна и молчала. Она смотрела на кузнеца так, как смотрят на человека, который говорит сам с собой.

— Коваль, — сказала Санька. — Как её звали?

Он поднял голову.

— Дарья.

— А когда она родилась?

— В такой-то год, — сказал он. — Зимой, на Спиридона.

Он ещё что-то помнил. Он помнил имя, он помнил год, он помнил, что она ушла в город и писала оттуда письма, и что письма читал ему вслух писарь, потому что сам он грамоты не знал.

— Она писала, — сказал он. — Про город. Про то, что там грязно и что хлеб дорогой. Про то, что нашла работу у красильщика и что руки у неё теперь всегда синие.

Он замолчал. Санька смотрела на него и ждала.

И вот тут это случилось. Она видела это так ясно, как не видела ничего в жизни. Кузнец сидел, смотрел в стену — и вдруг взгляд у него стал другим. Как будто внутри у него кто-то взял и вынул одну вещь. Осторожно, не тронув остальных. Он ещё держал в голове «дочку», но уже не знал, зачем.

— Дарья, — сказал он неуверенно.

— Дарья, — повторила Санька.

— Дарья... — Он покачал головой. — А кто это?

Санька открыла рот. И ничего не сказала. Потому что не знала, что говорить.

Кузнец посидел ещё немного, потом встал, поблагодарил за воду и вышел. Он ушёл спокойным шагом, ровным, как уходят люди, у которых всё в порядке и которые просто зашли по дороге. Санька сидела на лавке.

— Мам.

Мать подняла голову.

— Ты помнишь Ковалёву дочку?

Мать задумалась. Долго — так долго, что Санька успела досчитать до двадцати.

— У Коваля не было дочки, — сказала она наконец. — Он один живёт. Всегда один жил.

Санька вышла во двор. Она стояла под дождём — мелким, осенним, который не льёт, а висит в воздухе, — и смотрела на Кромку. Трава там стояла ровно, не шевелясь.

И Санька впервые за всю жизнь подумала: а вдруг это она.

Не Кромка. Она.

Она подняла левую руку и посмотрела на неё. Рука была тёплая.

Вечером она нашла под поленницей обрезок доски — старый, тёмный, с одной стороны обломанный, — и принесла в дом. Положила на стол и взяла нож.

— Ты чего делаешь? — спросила мать.

— Пишу.

— Что пишешь?

Санька не ответила. Она резала медленно, следя, чтобы буквы выходили глубоко: нож был тупой, дерево — сухое, и оно крошилось под лезвием, а заноза вошла под ноготь и мешала.

«ОТЕЦ. УМЕР, КОГДА МИТЬКЕ БЫЛ ГОД».

Мать подошла и посмотрела. Смотрела долго. Потом провела пальцем по буквам — так, как проводят по лицу спящего.

— Это твой отец, — сказала она.

— Мой.

— Он умер, когда Митьке был год.

Мать стояла и смотрела на доску.

— Я его помню, — сказала она вдруг.

Санька подняла голову.

— Помнишь?

— Помню. — Мать смотрела на буквы. — Он в бане мылся и парился так, что потом выходил красный, как варёный. И всё говорил: «Хорошо».

Она помолчала.

— А больше ничего не помню.

Санька взяла нож и вырезала ниже — мелко, сколько было места:

«ПАРИЛСЯ. ГОВОРИЛ: ХОРОШО».

Мать смотрела.

— Зачем?

— Затем, что ты помнишь. — Санька отложила нож. — А завтра, может, не будешь.

Мать не ответила. Она села на лавку и просидела до темноты, глядя на доску.

Санька вбила её в стену сарая, снаружи, у самой двери — там, где видно от калитки. Молоток был тяжёлый, и она ударила дважды: первый раз криво, второй раз ровно.

Ночью пошёл дождь. Доска намокла, буквы налились водой и стали видны яснее.

Глава 2. Сосед

Коваль вышел утром и открыл кузницу, как открывал её тридцать лет: откинул щеколду, впустил в тёмное нутро свет, постоял на пороге, дожидаясь, пока глаза привыкнут.

Внутри пахло окалиной, машинным маслом и мокрой землёй — пол в кузнице был земляной, утоптанный до каменной твёрдости. По стенам висел инструмент: клещи разных размеров, молотки, зубила, — всё на своих гвоздях, всё в порядке, как у человека, который тридцать лет кладёт вещь туда, откуда взял.

Он разжёг горн. Уголь взялся не сразу, пришлось подуть мехом — тяжёлым, кожаным, с деревянной ручкой, отполированной ладонью до блеска. Когда огонь пошёл, стало жарко, и Коваль снял рубаху, оставшись в засаленном переднике.

Потом он поставил воду — ведро у порога, с деревянной крышкой, чтобы не пила пыль.

И взял молот.

И стал ждать.

К обеду пришли.

Сначала сосед — Тихон, мужик с крыльца напротив, — потом ещё двое, потом баба с ведром, будто случайно.

Тихон вошёл первым, снял шапку и стал её мять в руках.

— Коваль.

— Чего.

— Ты чего вчера?

Коваль поднял голову от наковальни.

— А что вчера?

— Ты Дашку не узнал.

Коваль посмотрел на него.

Спокойно.

— Какую Дашку?

Тихон замолчал.

Он стоял и смотрел на кузнеца, и в его лице было то же, что было вчера у всех, — растерянность человека, который видит, что вещь лежит не там, где лежала всегда, и не понимает, как её переложили.

— Дашку, — повторил он. — Дочь твою. Дарью.

— Нет у меня дочери, — сказал Коваль.

Он не сердился.

Он говорил это так, как говорят «нет, я не болен» или «нет, я не голоден»: уверенно, чуть устало, без всякого желания спорить.

Тихон обернулся к тем, кто стоял в дверях.

Те переглянулись.

— Коваль, — сказал Тихон осторожно. — Ты вспомни. Она прошлой весной в город ушла. Писала тебе. Ты ещё ходил к писарю, чтобы он прочитал.

Коваль опустил молот.

Он стоял и думал — и Санька, которая стояла в дверях

кузницы, за чужими спинами, видела, как он думает.

Как он ищет.

Он искал в себе — аккуратно, как ищут в тёмном чулане, ощупью, — и не находил.

— Не помню, — сказал он наконец.

— Что не помнишь?

— Ничего. — Он развёл руками. — Вот ты говоришь «дочь». А у меня в голове пусто. Как будто ты говоришь про чужое.

Тихон отступил на шаг.

Потом пришли ещё.

Коваль каждому отвечал одно и то же, и с каждым разом говорил всё спокойнее. К вечеру он уже не удивлялся вопросу — просто качал головой и возвращался к работе.

Дашка стояла у забора и смотрела.

Ей было двадцать. Худая, загорелая дочерна, в городской кофте, которая была ей велика, — она вернулась из города неделю назад и ещё не успела переодеться в деревенское. Руки у неё были синие по локоть: краска въелась в кожу и не отмывалась.

Санька стояла рядом.

— Он тебя не видит, — сказала она.

— Видит. — Дашка не отрывала глаз от отца. — Он смотрит сквозь.

Она была права.

Коваль смотрел в её сторону, и если бы она помахала —

он бы, наверное, кивнул.

Он кивал всем.

Но он не узнавал.

— Даш.

— Чего.

— Пойдём отсюда.

— Сейчас.

Она стояла ещё полчаса.

Потом повернулась и пошла — не к дому, а в поле, за огороды, где было пусто.

Санька пошла за ней.

Они сели на меже.

Было тихо, только кузнец стучал вдалеке — ровно, размеренно, как стучат люди, у которых всё в порядке.

— Он меня не выгнал, — сказала Дашка.

— Не выгнал.

— Он мне воды дал.

— Дал.

— Как чужой. — Она смотрела в землю. — Как прохожему, который попросил воды.

Санька молчала.

— Сань.

— А это лечится?

Санька не знала.

Она вообще ничего не знала про то, что случилось с Ковалем. Она не слышала ни от кого ни про что подобное —

ни в своей деревне, ни в соседних.

— Не знаю, — сказала она.

Дашка кивнула.

Санька сидела и думала.

Она думала не о Ковале.

Она думала о том, что было общего у Коваля и у Дашки.

И не находила.

Они были похожи — оба упрямые, оба молчаливые, оба с одинаковым тяжёлым взглядом исподлобья, — и это было не то.

А потом она нашла.

Она вспомнила: весной, когда переписывали дворы, писарь спросил у Коваля:

— Дети есть?

И Коваль ответил:

— Нет.

Санька тогда стояла в стороне и ждала, когда пойдут дальше. Ей было всё равно.

Но она это слышала.

Она была уверена, что слышала.

— Даш.

— Чего.

— Он тебя в книгу не записал.

Дашка подняла голову.

— Как — не записал?

— Писарь спрашивал, есть ли дети. Он сказал — нет.

Дашка смотрела на неё.

— Как нет, — сказала она. — Я есть.

— Есть.

— Я письма писала. — Она вдруг заговорила быстро. — Я в городе была, у красильщика, я руки в краске ободрала, я сюда шла пешком восемь дён, — она показала руки, — вот, смотри, это краска, это не грязь, её не отмоешь, — и он меня не узнал.

Она говорила и говорила, ища одну-единственную вещь, которую можно предъявить.

— Я есть, — сказала она. — Вот я.

Санька смотрела на её синие руки.

— Я знаю, — сказала она.

Может, Коваль соврал?

Может, он тогда уже не помнил?

Вечером Санька сидела на завалинке и смотрела на свою левую руку.

Двор был тихий. Куры уже зашли в курятник, и оттуда доносилось сонное бормотание. Пахло дымом и навозом, и где-то за речкой, на стороне Кромки, стояла та самая жёсткая тишина, в которой не было ни птиц, ни ветра.

Ночью она не спала.

Лежала и слушала. Митька сопел на печи. Мать ворочалась на лавке, и дерюга под ней шуршала. За стеной, у соседей, коротко и сонно полаяла собака — и умолкла, будто поняла, что зря.

Санька думала о книге.

Она представляла её так, как видела: толстая, в холщовых досках, с двумя застёжками; страницы плотные, желтоватые, исписанные мелко, в две колонки. Писарь носил её под мышкой и никогда не открывал без надобности — только когда надо было записать или проверить.

Она думала: а если книга врёт?

И тут же: а если книга не врёт, а просто пишет то, что есть.

Утром она пошла к Дашке.

Девочка спала у соседки, в сенях, на старом тулупе, подложив под голову узел с вещами.

— Даш.

— Чего.

— Пойдём.

— Куда?

— К тебе.

Дом Коваля был заперт.

Дашка постояла, потрогала дверь.

— Он никогда не запирает, — сказала она.

— Теперь запирает.

Они обошли дом.

Окно было приоткрыто — летом всегда приоткрывали, — и Дашка заглянула.

— Там всё как было, — сказала она.

— А чего ты хотела?

— Не знаю. — Девочка пожала плечами. — Думала, мо-

жет, чего-то не стало.

Санька заглянула тоже.

Внутри было как всегда: горн, наковальня, инструмент на стенах, кровать в углу под старым одеялом, стол с одной миской.

Всё на своих местах.

Кроме одного.

На стене, у кровати, висела тряпица — маленькая, выцветшая, в тёмную кайму, с вышитым в углу крестиком.

Санька смотрела на неё и думала: вот оно.

Она не знала, что именно «оно».

Но чувство было ясное: эта тряпица — единственное, что помнит Дашку. Не Коваль. Не люди. Тряпка на стене.

— Что это? — спросила она.

Дашка посмотрела.

— Не знаю, — сказала она. — Висело всегда.

— Это твоё?

— Почему моё?

Санька не ответила.

Она смотрела на вышитый крестик — кривой, неровный, как вышивают дети, — и думала о том, что руки, которые это шили, помнили девочку, для которой шили.

— Даш.

— Ты умеешь резать по дереву?

— Ножом?

— Ножом.

Дашка посмотрела на неё.

— Умею.

Санька сняла с плеча сумку, достала обрезок доски — из тех, что уже носила с собой, — и положила ей на колени.

— Напиши, как тебя зовут.

— Зачем?

— Затем, что отец тебя не помнит. — Санька смотрела на неё. — А дерево — помнит.

Дашка взяла нож.

Она резала неумело: нож был тупой, дерево сухое, и буквы выходили мелкими, с задирами. Она сопела и кусала губу.

— Глубже, — сказала Санька.

— Я стараюсь.

— Не старайся. Просто глубже.

Дашка резала.

Когда она закончила, на доске было: «ДАРЬЯ».

Криво, косо, но разобрать можно.

— Готово, — сказала она.

Санька взяла доску.

Она повертела её в руках.

— И что теперь? — спросила Дашка.

— Теперь повесим.

— Куда?

— К нему на дверь.

Дашка замерла.

— Он же увидит.

— Увидит.

— И что?

Санька посмотрела на неё.

— Не знаю, — сказала она честно.

Они пошли к кузнице.

Коваль работал.

Он стоял у наковальни, подняв молот, и бил ровно, размеренно — так, как бьют люди, которые делают одно и то же тридцать лет и уже не думают, куда бить.

Санька подошла и приложила доску к двери.

Примерилась.

— Даш.

— Подержи.

Дашка подержала.

Санька достала гвоздь.

Она вбила его в дверь — тихо, чтобы не мешать, — и повесила доску.

Коваль не обернулся.

Они отошли на десять шагов и стали смотреть.

Прошёл час.

Коваль работал.

Потом он закончил, положил молот, вытер руки о передник и пошёл к двери — выйти, подышать.

Он открыл дверь.

Доска качнулась.

Он остановился.

Санька смотрела.

Коваль стоял и смотрел на доску.

Долго — так долго, что Дашка начала переступать с ноги на ногу.

— Что это? — сказал он.

Он сказал это не Саньке и не Дашке.

Он сказал это себе.

И тут Дашка шагнула вперёд.

— Это я, — сказала она.

Коваль посмотрел на неё.

Санька видела, как шевелятся его губы.

Он читал.

«ДАРЬЯ».

— Дарья, — сказал он вслух.

Дашка заплакала.

Негромко, стоя, — просто слёзы пошли и пошли, — и она их не вытирала.

Коваль смотрел на неё.

Потом сказал:

— Ты чего?

И это «ты чего» было таким, каким говорят отцу, у которого дочь ревёт третий раз за день.

Дашка шагнула и обняла его.

Коваль стоял.

Он не оттолкнул.

Но и не обнял.

Санька видела: он не понимает.

Совсем.

Он видит, что плачет чужая девочка, и не знает, что делать, — и в то же время что-то в нём отзывается, потому что доска на двери говорит ему то, чего не говорит никто.

Он поднял руку.

Опустил.

Потом всё-таки положил ладонь ей на голову.

— Ну, — сказал он. — Ну, тише.

Санька отвернулась.

Она пошла домой, и всю дорогу у неё было так, как будто она сделала что-то хорошее и одновременно что-то украла.

Дома она села за стол.

Мать спала.

Митька спал.

Санька достала нож и вырезала ещё одну доску.

Она не знала, кому.

Она просто резала — ровно, глубоко, как учила Дашку, — и в голове у неё было одно.

Если доска помнит, значит, надо, чтобы досок было много.

Очень много.

Глава 3. Пропажа

Дом на краю стоял пустым уже год.

В нём жила Марья-солдатка — так её звали, потому что муж ушёл в стражу и не вернулся. Она осталась одна, с двумя козами и с долгом мельнику, и отдавала этот долг понемногу: то зерном, то работой — ходила на мельницу, чистила жернова, таскала мешки.

Санька ходила к ней за молоком. Каждое утро, чуть свет, — с крынкой в руках, по тропинке мимо колодца.

Тропинка была узкая, вытоптанная до глины, и по краям её росла та твёрдая, короткая трава, которая растёт там, где много ходят. Санька знала на этой тропинке каждый камень. Знала, что в дождь у второго поворота стоит лужа, которую никогда не размывает, потому что под ней глина, а глина воду не берёт.

Она шла и думала о вчерашнем.

О писцаре. О книге. О том, что её там нет.

Она думала: надо спросить у матери.

И тут же думала: а если мать скажет то же, что сказала писарю?

Тропинка вывела на пустое место.

Санька остановилась.

Дома не было.

Не сгоревшего, не разобранного, не заросшего бурьяном,

как бывает у брошенных домов, — просто не было.

Трава. Ровная, зелёная, короткая, как на выгоне, где пасут скот.

И даже колышки от плетня не осталось. Ни ямки, ни уголька, ни обломка доски.

Санька стояла и смотрела.

Потом обернулась — посмотреть, туда ли она пришла.

Туда: вон колодец с воротом, вон кузница, вон крыша соседского сарая.

Значит, дом должен быть здесь.

Здесь, на этом месте, между тропинкой и речкой, — там, где сейчас трава.

Она подошла ближе.

Трава была примята — в одном месте, кругом, шага в два, — как будто тут кто-то долго стоял.

И пахло.

Санька не сразу поняла чем.

Пахло дымом.

Не свежим — старым, как будто дым остался в воздухе и не хотел уходить, как будто его вбили в землю и он всё ещё выходил оттуда понемногу.

— Марья! — позвала она.

Никто не ответил.

— Марья-а!

Тишина была какая-то не та. Не пустая — а плотная, будто звук не уходил, а оставался рядом и стоял.

Санька подождала.

Потом наклонилась и потрогала траву.

Она была тёплая — не как земля под солнцем, а ровно тёплая, как бывает тёплой вещь, которую долго держали в руках.

Санька отдёрнула руку.

И пошла обратно — быстро, почти бегом, — и крынка била её по ноге, и молоко, которое она не купила, плескалось только в её голове.

В деревне она первым делом подошла к соседке.

— Тёть Глаш.

— Чего?

— А где Марья-солдатка?

Глафира стояла на крыльце и вытирала руки о передник.

Она посмотрела на Саньку так, как смотрят на ребёнка, который спрашивает глупость.

— Какая Марья?

— Солдатка. — Санька показала рукой. — Дом на краю, у речки. С козами.

Глафира подумала.

Честно подумала — Санька видела, как она думает: как перебирают в памяти полку за полкой и не находят.

— Нет там никого, — сказала она наконец. — Пусто там.

— Дом был.

— Какой дом?

— Марьин.

Глафира покачала головой.

— Санька, — сказала она. — Ты чего? Там пусто всегда было.

Санька стояла.

— Всегда?

— Всегда. — Глафира пожала плечами. — Там трава да колышек один. Ребятишки туда бегают.

Санька пошла дальше.

Она обошла полдеревни.

Она спрашивала у всех: у Тихона, у его жены, у старухи, которая сидела на завалинке и видела всё, что делается на улице, у мужиков, которые чинили прясло.

Ей отвечали по-разному.

Тихон сказал:

— Марья? Не было тут никакой Марьи.

Жена Тихона сказала:

— Была какая-то, за мельником замужем. Или не за мельником.

— А куда делась?

— А кто её знает. Уехала, наверное.

Старуха на завалинке сказала:

— Марья-то? — и задумалась надолго. — Марья-то... А ведь и нет Марьи.

— Была?

— Была, — сказала старуха уверенно. — Была. Только я не помню, какая.

Мужики у прясла сказали:

— Не знаем таких.

И вот это было самое страшное.

Не то, что дом исчез.

А то, что отвечали все по-разному — и все были уверены, что говорят правду.

Санька вернулась домой к обеду.

Мать сидела у окна.

Митька был во дворе — гонял палкой козу, и коза не боялась, а просто переступала с ноги на ногу.

— Мам.

— Чего.

— Ты помнишь Марью-солдатку?

Мать долго молчала.

Она смотрела в окно, и по её лицу было видно, что она ищет.

Ищет в себе — и не находит.

— Смутно, — сказала она наконец.

Санька села рядом.

— Что смутно?

— Что была какая-то женщина. — Мать смотрела в окно. — С козами. Или с курами.

— А где она жила?

— На краю.

Санька замерла.

— На краю? — переспросила она.

— На краю. — Мать кивнула. — Дом у речки, я туда за молоком ходила.

Санька смотрела на неё.

— А сейчас?

— Что сейчас?

— Ты бывала там?

Мать помолчала.

— Не знаю, — сказала она. — Как будто бывала. А как будто нет.

Она отвернулась к окну.

— Санька.

— Да.

— А ты чего спрашиваешь?

Санька не знала, что ответить.

Ложь была бы проще. Но ложь пришлось бы придумывать, а придумывать она не умела.

— Дома нет, — сказала она.

— Какого дома?

— Марьиного.

Мать посмотрела на неё.

— Так бывает, — сказала она.

Санька замерла.

— Как бывает?

— Так. — Мать пожала плечами. — Жили — и нет. Люди уезжают.

— Дом-то куда делся?

— Разобрали, — сказала мать. — На дрова.

Санька смотрела на неё.

— Мам.

— Там трава.

Мать промолчала.

— Ровная трава, — сказала Санька. — Как на выгоне. И пахнет дымом.

Мать смотрела в окно.

— Ну и что, — сказала она.

И в этом «ну и что» было столько спокойствия, что Саньке стало холодно.

Она постояла.

Потом спросила — не думая, просто чтобы услышать:

— Мам.

— А?

— Скажи, как меня зовут.

Мать посмотрела на неё.

— Зачем?

— Просто скажи.

Мать помолчала.

— Санька, — сказала она.

И вернулась к окну.

Санька стояла.

Она ждала, что это будет что-то значить. Что мать вдруг обернётся, узнает, вспомнит — как в сказках, где одно слово снимает заклятие.

Ничего не случилось.

Мать сидела и смотрела в окно, и её лицо было спокойное, как у человека, который назвал имя соседки.

Санька вышла во двор.

Митька бежал за ней.

Он догнал её у поленницы и дёрнул за рукав.

— Сань.

— Чего.

— Ты чего?

Она посмотрела на него.

Он был маленький, в отцовской рубахе, подпоясанной верёвкой, и рукава ему закатывали дважды.

— Митька.

— Чего.

— Ты Марью помнишь?

Митька задумался.

Он думал по-настоящему — морща лоб, шевеля губами, — и это было так трогательно, что у Саньки защемило в груди.

— Молоко, — сказал он.

— Что молоко?

— Она молоко давала. — Он показал руками. — Крынка. Большая.

Санька села на землю.

— Да, — сказала она. — Крынка. Большая.

Митька сел рядом.

— Сань.

— А она уехала?

Санька смотрела на пустое место за огородами, где была трава, ровная, как на выгоне.

— Уехала, — сказала она.

Ночью она не спала.

Она лежала на лавке и смотрела в потолок.

Она думала: сначала Коваль. Потом Марья.

Она думала: это уже не случай.

Она думала: а кто следующий?

И тогда она поняла, что боится не за Коваля и не за Марью.

Она боится за себя.

Потому что её уже нет в книге.

Она села.

В доме было тихо. Митька сопел на печи. Мать спала на лавке у окна, и её дыхание было ровным, спокойным — дыхание человека, у которого всё в порядке.

Санька встала, надела кожух и вышла во двор.

Ночь была ясная, холодная. Трава блестела от росы, и было слышно, как за речкой стоит тишина — та самая, плотная, из которой не доносится ни птиц, ни ветра.

Санька подошла к сараю.

Доска с надписью об отце стояла на месте.

Она потрогала буквы.

Потом посмотрела на свою левую руку.

Рука была тёплая.

Она сжала кулак.

— Я есть, — сказала она вслух.

Тишина не ответила.

— Я есть, — повторила Санька. — Слышишь? Я есть.

И пошла в дом — спать.

Утром она поняла, что надо уходить.

Это было не решение.

Это было просто понимание, как понимают, что пришла зима.

Она сказала об этом матери за завтраком.

— Мы уйдём, — сказала она.

Мать жевала хлеб.

— Куда?

— В Соль.

Мать прожевала, проглотила, отставила кружку.

— Зачем?

— Затем, что там книга. — Санька смотрела на неё. — Меня в ней нет. И тебя, может, тоже.

— Я есть, — сказала мать спокойно.

— Откуда ты знаешь?

— Потому что я тут живу.

Санька положила ложку.

— Мам.

— Коваля помнишь?

— Помню.

— А его дочку?
Мать задумалась.
— Нет у него дочки, — сказала она.
Санька смотрела на неё.
— А Марью?
— Марью помню. — Мать пожала плечами. — Смутно.
— А куда она делась?
— Уехала.
Мать встала и понесла кружку к кадке.
Санька смотрела ей в спину.
Она думала: если я уйду, она меня забудет через неделю.
Она думала: а если останусь — забудет всё равно.
— Митька.
Он сидел на печи.
— Чего?
— Мы уйдём.
Он посмотрел на неё.
— С тобой? — спросил он.
— Со мной.
Он слез с печи.
— Сейчас?
— Через три дня.
Он кивнул и пошёл к своей корзине.
Санька села за стол и стала раскладывать, что взять.
Хлеб. Соль в тряпице. Нож. Огниво. Две пары онучей.
И доска.

Она стояла и смотрела на неё.

На доске было вырезано: «ОТЕЦ. УМЕР, КОГДА МИТЬКЕ БЫЛ ГОД» — и ниже: «ПАРИЛСЯ. ГОВОРИЛ: ХОРОШО».

— Ты чего? — спросил Митька.

— Ничего.

— Берёшь?

Санька кивнула.

Она завернула доску в тряпицу и положила в сумку.

Три дня она собиралась.

И все три дня мать то узнавала её, то нет.

Глава 4. Мать

Три дня мать то узнавала её, то нет — и эти три дня Санька потом вспоминала чаще, чем всё остальное, что случилось в тот год.

Это было хуже всего. Хуже, чем если бы она забыла совсем. Совсем — это когда человека нет, когда на его месте ровная пустота, как на месте вырванного зуба: язык туда ходит, а там ничего. А тут человек есть, но появляется и исчезает, как свет в окне, когда кто-то ходит по комнате со свечой: вот он, вот нет, вот опять — и ты не знаешь, в какой из этих минут тебе позволено дышать.

В доме всё это время пахло мокрой золой, потому что печь топили сырыми дровами, и запах этот въедался в дерюгу, в волосы, в хлеб. Санька ловила себя на том, что принюхивается к матери, как принюхиваются к чужой вещи, чтобы понять, своя она или нет.

В первый день она узнала Саньку к обеду.

Санька с утра рубила хворост за сараем — наколола две охапки, руки отвыкли, и правая ладонь горела от топорища. Она вошла в дом, вся в щепе, вытирая лоб рукавом.

Мать сидела на лавке и штопала.

— Санька, — сказала она. — Ты чего стоишь?

— Ничего. Хворост принесла.

— Иди сюда.

Санька подошла.

Мать взяла её за руку — за правую, — повернула, посмотрела на ладонь.

— Ты не мёрзнешь?

— Нет.

— Холодно на дворе.

— Не очень. Печь же.

Мать кивнула и вернулась к штопке.

Она штопала старую рубаху — отцовскую, ту, что Митька донашивал вместо своей, — и стежки у неё выходили мелкие, ровные, как у людей, которые делают это сорок лет и уже не глядят на иглу. На левой руке у неё не хватало двух пальцев, и управлялась она ими так, что Санька в детстве думала, будто пальцы убрали для удобства: нитка шла между двумя оставшимися и ложилась ровно, без узлов. Рубаха была серая от стирки, в двух местах протёртая до дыр, и мать зашивала дыры не заплатами, а частой сеткой, чтобы шов не давил, когда человек работает.

Санька села напротив и стала смотреть на её руки. Так она могла сидеть долго: иголка идёт вверх-вниз, вверх-вниз, и от этого идёт сон, и тепло, и уверенность, что ничего не случилось.

Они сидели и молчали.

И это было почти хорошо.

Почти — потому что Санька всё время ждала, что вот сейчас мать поднимет голову и спросит: «А ты кто?»

Она не спросила.

Во второй день мать не узнала её утром.

Санька встала раньше, растопила печь, поставила воду и пошла будить её — потому что мать обычно уже сидела у окна, а тут лежала.

— Мам.

Мать открыла глаза.

Посмотрела.

И ничего не сказала.

— Мам. Вода готова.

Мать села на лавке.

Она смотрела на Саньку так, как смотрят на чужого человека, который вошёл в дом и ведёт себя как свой.

— Ты кто? — спросила она днём.

— Санька.

— Какая Санька?

— Твоя дочь.

Мать посмотрела на неё.

Потом отвернулась к окну.

Санька стояла посреди дома с тряпкой в руках.

Она не знала, что делать.

Уйти — нельзя. Остаться — тоже как будто нельзя.

Она подошла и села рядом.

Мать не отодвинулась.

Санька взяла её руку — сухую, лёгкую, с плоскими ногтями и трещинами на подушечках — и стала держать.

Мать смотрела в окно.

— У меня была дочка, — сказала она вдруг.

Санька замерла.

— Была?

— Была. — Мать кивнула. — Маленькая. Всё бегала босая.

Санька смотрела на неё.

— А где она?

Мать помолчала.

— Не знаю, — сказала она. — Умерла, наверное.

Санька отпустила её руку.

Она вышла во двор.

Села на поленницу.

И вот тут её накрыло.

Не сразу — сначала просто стало трудно дышать, как будто в груди провернули что-то тяжёлое и не отпустили, — а потом пошли слёзы, и она их не вытирала, потому что вытирать было бессмысленно: они шли и шли.

Митька вышел из сарая.

Он постоял, посмотрел.

Потом подошёл и сел рядом.

Он ничего не сказал.

Он просто сидел — маленький, в отцовской рубахе, с закатанными рукавами, — и молчал.

И от этого стало легче.

Вечером мать позвала:

— Санька! Иди есть.

Санька пришла.

Мать поставила перед ней миску — щи, густые, с куском сала, — и сама села напротив.

— Ешь.

— Спасибо.

— Ты чего такая? — спросила мать. — Как побитая.

— Устала.

— Ну. — Мать подперла голову рукой. — Отдохнёшь.

Она смотрела, как Санька ест.

Смотрела внимательно, как смотрят на ребёнка, который давно не ел.

— Вкусно? — спросила она.

— Вкусно.

— То-то. — Мать усмехнулась. — Я всегда хорошо щи варю. Меня свекровь учила, а она злая была, но щи варила.

Санька улыбнулась.

И они просидели так весь вечер.

Мать рассказывала про свекровь, про то, как та её учила ухватом орудовать, про то, как первый раз щи получились как вода.

Санька слушала.

Она думала: вот она.

Она думала: вот моя мать, и она сейчас помнит меня и говорит со мной, и это самый обычный вечер в моей жизни.

И всё это время она знала, что завтра будет иначе.

На второй вечер она затопила баню.

Баня была старая, вросшая в землю, с низким потолком, и в ней всегда пахло сырым деревом и золой. Печь-каменка топилась по-чёрному: дым шёл в дверь, и приходилось сидеть на корточках, пока он выйдет.

Санька натаскала воды — четыре ведра, — нагрела и позвала мать.

— Мам. Идём.

— Куда?

— В баню. Помыться.

Мать посмотрела на неё.

— Мне мыться? — спросила она.

— Тебе.

Мать задумалась.

Потом встала.

В бане было жарко и темно, только свет от открытой двери. Санька поставила шайку, развела воду — горячую с холодной, — проверила локтем.

— Садись.

Мать села на полок.

Санька размотала ей волосы.

Они были сухие, жёсткие, с проседью у висков, и пахли дымом и чем-то ещё — старым, как из сундука.

Она стала лить воду ей на голову.

Мать сидела, ссутулившись, и её спина была видна всю: лопатки, выступившие, как птичьи крылья под кожей, и по-

звонки, и глубокие ямы у шеи.

Санька смотрела на неё и думала: вот она.

Она думала: она старуха.

Она думала: а ведь я её никогда не видела голой.

Она намылила ей голову, и мать зажмурилась, как ребёнок.

— Не в глаз, — сказала она.

— Не буду.

Санька смыла, взяла гребень и стала расчёсывать.

Мать сидела смирно.

— Хорошо, — сказала она.

Санька остановилась.

Это было то самое слово.

— Что? — спросила мать.

— Ничего. — Санька отвернулась. — Спину помыть?

— Помой.

Она мыла ей спину мочалкой — лёгкой, из липового лыка, — и мать сидела под её руками и молчала.

— Мам.

— А отец какой был?

Мать долго молчала.

— Большой, — сказала она наконец.

— Большой?

— Большой. Руки как лопаты. — Она усмехнулась. — И пахло от него железом. Он на кузне подрабатывал, когда Коваль болел.

— Коваль?

— Коваль. — Мать кивнула. — Они дружили.

Санька села на пятки.

Она думала: Коваль дружил с отцом.

Она думала: и теперь он не помнит даже своей дочери.

— А он отца помнит?

— Коваль-то? — Мать подумала. — Коваль-то должен. Они вместе на мельнице работали, когда мельник новое колесо ставил.

Санька молчала.

— Мам.

— А ты Коваля помнишь?

— Помню. Кузнец.

— А его дочку?

Мать помолчала.

— У него нет дочки, — сказала она.

Санька налила ей воды.

— Голову наклони.

Мать наклонила.

И Санька смывала мыло и думала, что вот сейчас, в этот самый момент, кто-то — какой-то человек в книге — водит пером по странице и решает, есть человек или нет.

Она смотрела на воду.

Вода была серой.

— Готово, — сказала она.

Мать выпрямилась.

— Хорошо, — сказала она.

Санька отвернулась, чтобы она не видела её лица.

Ночью она не спала.

Она лежала и слушала, как мать дышит.

А утром — на третий день — мать встала раньше всех и села у окна.

Санька вышла и встала рядом.

— Мам.

— Чего.

— Ты чего не спишь?

— Не спится, — сказала мать.

И это было нормально.

Санька стояла и смотрела на неё.

— Мам.

— Ты меня узнаёшь?

Мать повернула голову.

Она посмотрела на Саньку долго — сверху вниз, как смотрят на человека, с которым познакомились вчера и не запомнили, как звать.

— Ты девка с краю, — сказала она. — Ты мне воды приносишь.

Санька закрыла глаза.

— Да, — сказала она. — Воды.

Она вышла.

Двор был обычный: куры, поленница, сарай.

И доска на сарае.

Санька подошла.

Провела по буквам пальцем.

«ОТЕЦ. УМЕР, КОГДА МИТЬКЕ БЫЛ ГОД».

Она смотрела на неё и думала: а ведь мать помнила отца.

Помнила, как он парился в бане и говорил «хорошо».

Она помнила человека, который умер двенадцать лет назад.

И не помнила того, кто живёт рядом с ней.

Санька села на землю и стала ждать.

Она ждала, когда мать выйдет и спросит: «Ты чего тут сидишь?»

Мать вышла через час — по воду.

Она прошла мимо, глянула мельком и ничего не сказала.

И тогда Санька поняла, что пора.

Она встала и пошла собираться.

Глава 5. Тракт

Тракт начинался за околицей.

Раньше Санька видела его только с холма — серая полоса, уходящая в поле, — и он казался ей широким и важным, как всё, что видишь издалека. По нему ходили телеги, по нему уезжали в город, и от него пахло не навозом и не травой, а чем-то большим.

Он был не широкий.

Разъезженная колея в две телеги, обочина в бурьяне — лебеда, полынь, какая-то жёсткая трава с зонтиками, — и вешки через каждые сто шагов: кривые палки, обвязанные тряпками, выцветшими до белизны.

И всё.

Шли они медленно.

Митька уставал быстро. Он был маленький — шесть лет, — и шёл, высоко поднимая ноги, как ходят по грязи, хотя грязи не было. Через каждые полчаса он садился прямо на дорогу, и его приходилось поднимать.

— Сань.

— А далеко?

— Далеко.

— А сколько?

— Три дня. Может, четыре.

Митька помолчал, переваривая.

— А мы дойдём?

— Дойдём.

Она не была уверена.

Она вообще не знала, куда идёт. Она знала одно: в Соли есть книга, и кто держит книгу, тот держит порядок. Так сказала Баба Нюра — знахарка из Ольхов, старая, злая, с руками в тёмных пятнах, — и Санька не знала, правда ли это, но других слов у неё не было.

К полудню они дошли до первого перекрёстка.

Там стоял крест.

Не такой, как на могилах, — две доски, сбитые косо, вросшие в землю по самый низ, — и на нём не было ничего: ни имени, ни образа, только вырезанный круг с насечками по краю.

Митька остановился.

— Сань, а это что?

— Крест.

— А кто там?

— Никто. Это памятник.

— Кому?

Санька посмотрела.

Круг был вырезан давно: дерево в нём потемнело и треснуло, и насечки заплыли смолой.

— Не знаю, — сказала она. — Кому-то.

Они сели передохнуть.

Санька достала хлеб — тот, что взяла из дома, — и раз-

ломила. Хлеб был уже чёрствый, с твёрдой коркой, и она отломила Митьке мякиш.

Митька ел и смотрел на крест.

— А почему тут никого нет? — спросил он.

— Как это?

— Ну, если это памятник — кто-то должен приходить.

— Приходят, может.

— А сейчас никого.

Санька не ответила.

Строчки висели перед глазами, пока она не моргнула.

Санька уже привыкла. Они появлялись и раньше — в деревне, у Марьиного дома, у доски с отцом, — и сначала она пугалась, а потом поняла, что это просто ещё один голос, который говорит то, что видит.

И что видит он не всё.

Она встала и потрогала крест.

Дерево было тёплое.

Она отдёрнула руку.

— Сань?

— Идём.

Дальше дорога пошла под уклон.

Слева лежало поле — сжатое, с торчащими стернями, — и по нему ходили грачи, тяжёлые, чёрные, которые не улетали, а просто отходили в сторону.

Справа был лес: не густой, с прогалинами, но тёмный, и

от него тянуло сыростью.

К вечеру Митька начал хныкать.

Он не плакал — он именно хныкал, тонко, на одной ноте, как ноет заноза, — и это было хуже плача.

— Ноги, — сказал он.

Санька села на обочину, сняла с него обувь и посмотрела.

Пятки были сбиты: кожа сошла двумя белыми пузырями, и один уже лопнул.

— Больно?

— Не очень.

— Врёшь.

— Немножко.

Санька достала тряпицу, разорвала её на две части и обмотала ему ступни.

Она делала это неумело. В деревне её этому не учили: там босиком ходили полдеревни, и сбитые пятки считались не болезнью, а делом.

— Теперь легче?

Митька встал, переступил.

— Легче.

Они прошли ещё версту и встали на ночь.

Место выбрали в лесу, шагах в двадцати от дороги, — ямка между корнями, защищённая от ветра. Санька наломала лапника, постелила, и они легли.

Костёр разводить не стала.

Она видела, как это делается, — и слышала, что на дороге

огня не разводят.

Она лежала и слушала.

Лес шумел не так, как в деревне. Там шумели берёзы, сухо, шелестом, а здесь шумели ели — глухо, будто кто-то ворочался во сне.

Митька заснул сразу.

Он дышал ровно, и во сне его рука всё время искала её руку — он тянулся, натыкался и успокаивался.

Санька смотрела в темноту.

Она думала: дома сейчас мать сидит у окна.

Она думала: а может, уже не сидит.

К ночи стало холодно.

Не как днём — иначе: холод пришёл снизу, от земли, и стал подниматься, как вода в подвале. Санька подтянула колени, накрыла Митьку своим кожухом и прижалась к нему спиной.

Она не спала почти до утра.

А перед рассветом услышала.

Сначала далеко — скрип. Потом ближе.

По дороге ехала телега.

Санька подняла голову.

Телега шла медленно, и в ней сидел человек — старый, в тулупе, накинутом поверх кафтана. Лошадь была тощая, бурая, и она шла, опустив голову, как ходят лошади, которых давно не кормили.

Санька встала.

Она не знала, надо ли выходить.

Она вышла.

— Эй, — сказала она негромко.

Человек на телеге поднял голову.

— Кто там?

— Я. — Санька шагнула на дорогу. — С братом. Мы идём в Соль.

Старик остановил лошадь.

Он посмотрел на неё, потом на Митьку, который спал у корней.

— Двое, — сказал он.

— Двое.

Он молчал.

— А что в Соли? — спросил он.

— Дело.

— Дело, — повторил он. — У всех дело.

Он пошевелил вожжами.

— Садитесь, — сказал он. — Подвезу до развилки.

Санька подняла Митьку.

Он не проснулся — только замычал и обхватил её за шею.

Они сели в телегу.

Старик тронул.

— Как звать? — спросил он.

— Санька.

— А его?

— Митька.

Старик кивнул.

— А вас? — спросила Санька.

Он долго молчал.

— Не помню, — сказал он.

Санька посмотрела на него.

Он был старый — лет семидесяти, — с лицом, изрезанным морщинами, и с руками, лежащими на вожжах, как две сухие ветки.

— Как это? — спросила она.

— А так. — Он пожал плечами. — Еду, а как звать — забыл.

— Давно?

— Не знаю. — Он посмотрел на неё. — Ты не думай, я не сумасшедший. Я всё помню. Дорогу помню, лошадь помню, что в Соль еду — помню. А как меня звать — нет.

Санька молчала.

— А зачем в Соль? — спросила она.

— Книга там, — сказал старик. — Говорят, там всё записано.

Он помолчал.

— Вот я и еду. Может, там написано, как меня звать.

Санька смотрела на дорогу.

Дорога была серая, и по обочинам стояли вешки, и одна из них, ближняя, была обвязана красной тряпкой.

— А если не написано? — спросила она.

Старик не ответил.

Телега скрипела.

— Ну, — сказал он наконец. — Тогда придумаю.

Он усмехнулся.

— Буду Игнатом, — сказал он. — Хорошее имя. Крепкое.

Санька посмотрела на него.

— Игнат, — повторила она.

— Игнат, — сказал старик. — Ну вот. Уже легче.

Они ехали часа два.

Солнце поднялось, и стало теплее; тулуп старик снял и бросил под себя.

— Ты откуда? — спросил он.

— Из Ольхов.

— Это где?

— За речкой. — Санька махнула рукой назад. — Там, где Кромка.

Старик кивнул.

— Знаю, — сказал он. — Я оттуда раз возил соль. Лет двадцать назад.

— И как?

— Никак. — Он пожал плечами. — Тихо там у вас.

Он помолчал.

— Слишком тихо, — сказал он. — Я тогда подумал: как на кладбище.

Санька ничего не ответила.

Митька проснулся.

Он сел, протёр глаза и стал смотреть по сторонам — на

лес, на поле, на лошадь.

— Сань.

— А это кто?

— Это Игнат. Он нас везёт.

Митька посмотрел на старика.

— Здравствуйте, — сказал он.

Старик обернулся.

— Здравствуй, — сказал он серьёзно. — Митька, стало быть.

— Митька.

— Да?

— Ну, — старик кивнул. — Хорошее имя. Крепкое.

Митька засмеялся.

Они проехали ещё версту.

— А ты чего в Соль-то? — спросил старик.

— Дело.

— Ты уже говорила. — Он усмехнулся. — Ты скажи по-человечески.

Санька долго молчала.

— Меня нет в книге, — сказала она.

Старик не удивился.

— Как нет?

— Так. Писарь приезжал, смотрел — и нет.

Старик поцокал языком.

— Это плохо, — сказал он.

— Плохо.

— Без записи человек — никто. — Он покачал головой. — У меня вот запись была. Двор, лошадь, всё. А потом...

Он замолчал.

— Что потом?

— А потом я и сам не помню, — сказал он. — Помню, что было. А где — не помню.

Он пошевелил вожжами.

— Может, сгорело, — сказал он. — Может, разобрали. Не помню.

Санька смотрела на дорогу.

— Игнат.

— А зачем вам имя?

Старик думал долго.

— Затем, что без имени я для всех — «эй», — сказал он. — А с именем — человек.

Он помолчал.

— Я так думаю: пока меня кто-то зовёт по имени, я есть. А как перестанут — всё.

— И кто вас зовёт?

Старик усмехнулся.

— Пока — сам себя, — сказал он. — Утром встаю и говорю: «Игнат, поехали».

Митька засмеялся.

К обеду они доехали до развилки.

Старик остановил лошадь.

— Вот, — сказал он. — Прямо — Соль. Налево — Заре-

чье.

— А нам куда?

— Вам прямо. — Он показал кнутовищем. — Через версту — мост. За мостом — слобода. Дальше город.

Санька слезла.

Она подняла Митьку.

— Спасибо, — сказала она.

Старик кивнул.

Он достал из-под себя мешок, порылся и вытащил краюху.

— На.

— У нас есть.

— Бери. — Он сунул хлеб ей в руки. — Хлеб не тяжесть.

Санька взяла.

— Игнат.

— А если в книге не написано, как вас звать?

Старик посмотрел на неё.

— Тогда ты запиши, — сказал он. — Ты же грамотная?

— Нет.

— Ну, значит, кто другой.

Он тронул лошадь.

— Игнат! — крикнула она вслед.

— Чего?

— Если узнаю — запишу!

Старик поднял руку — не помахал, а просто поднял, — и телега покатилась.

Они стояли и смотрели, пока она не скрылась за поворо-

том.

Митька дёрнул её за рукав.

— Сань.

— Он хороший.

— Хороший.

— А почему он не помнит, как его зовут?

Санька посмотрела на дорогу.

— Потому что его никто не зовёт, — сказала она.

Они пошли дальше.

К вечеру они услышали воду.

Глава 6. Заречье

Вода была слышна издалека: не шум, а низкий, ровный говор, будто где-то далеко пересыпали зерно. Чем ближе они подходили, тем сильнее пахло — тиной, мокрым деревом и рыбой, — и этот запах был до того густой, что Санька начала дышать ртом.

Река называлась Тихой, и она была тихая — широкая, медленная, с илистым дном и водой цвета чая. Моста не было. Был брод и рядом — гать: накатанные брёвна, присыпанные землёй, по которым в слободу ходили телеги. Брёвна были скользкие, с зелёным налётом, и между ними стояла вода, и в ней плавали пузыри, и по пузырям было видно, что под брёвнами кто-то живёт.

У брода стояла женщина.

Санька увидела её сразу — она не пряталась.

Женщина была высокая, в кожаном жилете поверх рубахи, с луком за спиной и с колчаном у бедра. Волосы стянуты ремнём, обветренное лицо, и на шее на кожаном шнуре висела деревянная ложка.

Она смотрела на них.

Санька остановилась.

— Здравствуйте, — сказала она.

— Здравствуй. — Голос у женщины был низкий, спокойный. — В слободу?

— В слободу.

— Зачем?

Санька замялась.

— В город идём, — сказала она. — В Соль.

Женщина посмотрела на Митьку.

— С мальцом?

— С братом.

Она помолчала.

— Вода поднялась, — сказала она. — Гать разбита. Тут не пройдёте — только вброд, а вброд ему по грудь.

Митька посмотрел на воду.

Вода была гладкая, и в ней отражалось небо.

— Я не боюсь, — сказал он.

— А зря, — сказала женщина.

Она сошла с берега, зашла в воду по колено и показала рукой.

— Вот тут — мель. Держись за меня.

Санька посмотрела на неё.

— А вы кто?

— Вельга.

Они перешли.

Митька шёл между ними, держась за руку Саньки и за руку Вельги, и вода доходила ему до пояса.

На том берегу Вельга вылила воду из сапог.

— Спасибо, — сказала Санька.

— Не за что.

Санька помолчала.

— А вы куда идёте?

Вельга выпрямилась.

Она смотрела не на Саньку, а куда-то за неё — на дорогу, уходящую в сторону слободы.

— Не знаю, — сказала она.

Митька засмеялся — как смеются дети, когда взрослый говорит глупость.

Вельга посмотрела на него.

— Ты чего?

— Как это — не знаете?

— А вот так. — Она пожала плечами. — Иду. А куда — забыла.

Санька смотрела на неё.

— Забыли?

— Забыла. — Вельга надела сапоги. — Я иду, потому что надо идти. А зачем — не помню.

Она помолчала.

— Помню только спину.

— Какую спину?

— Чью-то. — Вельга смотрела на дорогу. — Он шёл впереди. Я за ним. Двадцать лет.

Она вскинула лук на плечо.

— Ну, — сказала она. — Идёмте.

Слобода называлась Заречье.

Тридцать дворов, церквушка без креста — на крыше был

просто столбик, — две кузни и колодец с журавлём. От тракта к ней вела гать, и по бокам её росла высокая, в рост человека, дудка.

У околицы стоял столб, а на столбе — доска.

На доске было написано что-то, и Санька не умела читать.

Она смотрела на буквы, как смотрят на птиц: вот они, рядом, и не понять, что они делают.

— Что там? — спросила она.

Вельга прищурилась.

— «Заречье. Дворов тридцать. Живут по записи».

— По какой записи?

— По своей. — Вельга кивнула на доску. — Тут у всех на дверях написано, кто в доме живёт.

В слободе было тихо.

Не мёртво — просто тихо.

Собаки не лаяли. Дети не кричали. Куры ходили по улице и не кудахтали, а только переступали красными лапами.

Люди были.

Они шли по своим делам, несли воду, чинили заборы, — и все они были очень вежливы.

— Здравствуйте, — сказала Санька женщине с ведром.

— Здравствуйте, — ответила та и прошла.

— А как вас зовут?

Женщина остановилась.

— Зачем?

— Просто.

Она посмотрела на Саньку — не враждебно, скорее с недоумением, как на человека, который спрашивает дорогу в доме, где живёт всю жизнь.

— У меня на двери написано, — сказала она и пошла дальше.

Санька обернулась к Вельге.

— Что это значит?

— Смотри.

Вельга кивнула на дом.

На двери была прибита дощечка. На дощечке — буквы, ровные, аккуратные, будто их выводили по линейке.

— Это имя, — сказала Вельга. — И кто в доме. Муж, жена, дети, сколько лет.

Санька подошла.

— А зачем?

— Затем, что тут так живут. — Вельга пожала плечами. — Кто не на доске — того нет. Имя — это запись. Запись — это дом. Дом — это ты.

Санька смотрела на доску.

Потом посмотрела на соседнюю дверь.

Там доска была.

На следующей — тоже.

И на всех — буквы.

Они прошли по улице.

И тут Санька увидела мальчика.

Он стоял у крыльца и держал в руках доску.

Пустую.

Санька остановилась.

— Эй.

Мальчик поднял голову.

Ему было лет десять. Он был босой, в рубахе с чужого плеча, и у него было лицо ребёнка, который давно не спал.

— Ты чего?

— Ничего. — Он показал доску. — Не пишется.

Санька подошла.

— Как не пишется?

— А вот так. — Мальчик перевернул доску. — Пишу, а оно стирается.

Санька взяла доску.

Она была гладкая, чистая — как новая.

— А ты чем пишешь?

— Углём.

Санька посмотрела на уголь у него в руке.

Она вспомнила, как Терентий — нет, она ещё не знала Терентия. Она вспомнила, как в детстве царапала углём на печи, и мать ругалась.

— Уголь стирается, — сказала она. — Надо резать.

Мальчик посмотрел на неё.

— Как резать?

— Ножом. По дереву.

Он молчал.

— У меня нет ножа, — сказал он.

Санька достала свой.

— На.

Мальчик взял нож.

Он держал его неумело — за самое лезвие, — и Санька перехватила его руку, повернула, вложила в ладонь как надо.

— Вот так. И режь неглубоко, а то расколется.

Мальчик резал.

Долго, высунув язык, сопя.

На доске получилось: «ПЕТЬКА».

Криво, но читаемо.

Он поднял доску.

— Это я, — сказал он.

— Ты.

Он смотрел на буквы.

— А теперь не забудут?

Санька посмотрела на него.

— Не забудут, — сказала она.

И тут же подумала: а кто её саму не забудет?

К вечеру они вышли к дому на краю слободы.

Дом был как дом: два окна, крыльцо, поленница под навесом. На двери — доска, и на доске четыре имени.

Вельга постучала.

Открыла женщина — немолодая, с круглым лицом и с руками в муке.

— Здравствуйте, — сказала она.

— Здравствуйте, — сказала Санька. — Мы путники. Пе-

реночевать не пустите?

Женщина посмотрела на них.

На Митьку, который уже качался от усталости.

На Вельгу с луком.

— Пущу, — сказала она. — Только у меня тесно.

В доме было тесно и тепло.

Пахло тестом, дымом и чем-то кислым — квашней.

Женщину звали Аграфена.

Она поставила на стол четыре миски.

— Ешьте.

Санька посмотрела на миски.

Четыре.

— А вы? — спросила она.

— А я потом.

Санька обвела взглядом дом.

На лавке лежала мужская рубаха. На гвозде висел мужской кафтан. На полке стояла вторая пара сапог.

— А где...

Она не договорила.

Аграфена села напротив.

— Нет его, — сказала она спокойно.

— Умер?

— Нет. — Аграфена посмотрела в стол. — Просто нет.

Санька молчала.

— Его звали Ермолай, — сказала Аграфена. — Мы двадцать лет прожили.

Она помолчала.

— Год назад я утром встала — и не вспомнила его лица.

Санька смотрела на неё.

— Совсем?

— Совсем. — Аграфена кивнула. — Я помню, что он был. Помню голос — он у него был низкий, он с порога говорил «ну». А лица нет.

Она встала и подошла к полке.

Взяла вторую пару сапог.

— Вот, — сказала она. — Сапоги его. Я их держу.

— Зачем?

Аграфена посмотрела на сапоги.

— Не знаю, — сказала она. — Если выброшу — совсем не будет.

Митька заснул прямо за столом, не доев.

Санька отнесла его на лавку.

Вельга сидела у печи и чинила тетиву.

— Вельга.

— А она его любит?

Вельга подняла голову.

— Кого?

— Мужа. Которого не помнит.

Вельга долго молчала.

— Не знаю, — сказала она. — Я вот иду за спиной двадцать лет и не помню, чья она.

Она вернулась к тетиве.

— Только это всё равно зачем-то надо, — сказала она. — Иначе я бы не шла.

Ночью Санька не спала.

Она лежала и слушала.

В доме было четверо: она, Митька, Вельга и Аграфена.

А миски на полке стояли четыре.

И на доске у двери было четыре имени.

Глава 7. Перепись

Перепись началась в полдень, в самый жаркий час, когда на улице не остаётся никого, кроме собак, и тень от плетней лежит под ногами, а не сбоку.

Санька узнала об этом от Аграфены, которая влетела в дом с лицом, какого у неё ещё не было: серым, будто её обсыпали мукой.

— Идут.

— Кто?

— Из Соли. С книгой.

Санька вышла на улицу.

У околицы стояла телега. На телеге сидели двое: один в чёрном кафтане, другой — постарше, в сером, с палкой. Лошадь стояла, опустив голову, и по её бокам ходили мухи; она отмахивалась хвостом лениво, через раз, и от этого по всей улице шёл сухой, шлёпающий звук. В телеге лежали ящик и два мешка, и от ящика пахло свежим деревом, хотя он был старый: его, видно, только что вымыли.

А третий, молодой, уже шёл по улице — с книгой под мышкой, — и перед ним бежал слободской писарь и что-то говорил, заглядывая в лицо.

Молодой остановился посреди улицы.

Он был высокий, худой, в сером кафтане, и на ногах у него были сапоги, которых в Заречье не носил никто: мягкая ко-

жа, ровный шов, подошва без грязи. Он стоял и смотрел на улицу так, как смотрят на доску, на которой надо что-то написать, и Санька впервые в жизни почувствовала себя этой доской.

— Здесь, — сказал он.

Слободской писарь кивнул.

— Стол.

Стол вынесли из ближнего дома.

Молодой положил на него книгу — толстую, в досках, обтянутых холстом, — открыл, полистал, нашёл место.

— Кто в слободе?

Слободской писарь зачастил:

— Тридцать дворов. Сто двенадцать душ. Мужчин — пятьдесят, женщин — сорок, детей...

— Я сам, — сказал молодой.

Он поднял голову.

— По одному. Двор за двором.

Перепись шла весь день.

Санька стояла в стороне и смотрела.

К обеду у стола стояла очередь — человек двадцать, — и в очереди пахло потом, луком и пылью, потому что люди пришли с огородов, не переодеваясь. Пыль стояла в воздухе низко, по колено, и в ней плавали куриные перья. Санька стояла у плетня, грызла сухую корку и смотрела, как молодой писец пишет: он держал перо не так, как слободской, — высоко, двумя пальцами, — и от этого его рука не уставала,

а шла ровно, как ходит по льду человек, который знает, где тонко.

Люди подходили к столу по одному.

Молодой задавал вопросы — коротко, ровно, — и писал.

— Двор?

— Второй от колодца.

— Кто в доме?

— Я. Жена. Двое.

— Имена.

Он записывал.

Санька смотрела на его перо.

Оно ходило быстро и без нажима, и было в нём что-то, от чего ей делалось холодно: так, наверное, работает нож, когда режет по живому и не замечает.

К вечеру очередь дошла до них.

Санька подошла.

Митька держался за её рукав.

Вельга стояла позади — так, чтобы видеть всех.

— Двор?

— Я не отсюда.

Молодой поднял голову.

— Откуда?

— Из Ольхов.

Он посмотрел на неё внимательно.

— Это где?

— За речкой. Дальше.

— Сколько дворов?
— Двадцать.
— Больше.
— Двадцать два. Может, двадцать три.
Он записал.
— Кто в доме?
— Мать. Митька — брат. И я.
— Мать — имя.
— Устинья.
Он записал.
— Дети?
— Митька. Шесть лет.
— А ты?
Санька помолчала.
— Я — Санька.
— Полное?
— Александра.
Он перевернул страницу.
Потом другую.
Он искал долго.
— Нет тебя, — сказал он наконец.
Санька стояла.
— Как нет?
— Нет. — Он поднял голову. — Ни в Ольхах, ни тут.
— Я есть.
— Я вижу. — Он посмотрел на неё. — И это плохо.

Санька смотрела на книгу.

— Почему плохо?

— Потому что таких забирают.

Он сказал это просто, без угрозы, — как говорят «зимой холодно».

Санька села на землю.

— Куда забирают?

— Не знаю. — Молодой пожал плечами. — Я только переписываю. Забирают другие.

— Какие другие?

— Те, кто приедет. — Он помолчал. — Когда найдётся расхождение.

Вельга шагнула вперёд.

— А ты кто?

Молодой поднял голову.

Посмотрел.

И вдруг замер.

— Вельга, — сказал он.

Вельга застыла.

— Ты меня знаешь?

— Знаю. — Он смотрел на неё. — Ты была в том походе. С тем, двадцатым.

Вельга не двигалась.

— С каким двадцатым?

— Которого нет, — сказал он.

Он закрыл книгу.

— Родион, — сказал он. — Меня зовут Родион.

Он отвёл их за околицу, к столбу с доской, и там они сели в бурьяне, спиной к ветру.

— Я двенадцать лет пишу списки, — сказал он. — И двенадцать лет вижу, как из них пропадают люди.

Санька смотрела на него.

— Пропадают?

— Пропадают. — Он кивнул. — Я записываю человека. Через год приезжаю — его нет. Ни в книге, ни в деревне.

— А люди?

— Люди не помнят. — Родион смотрел на свои руки. — Сначала это странно. Потом привыкаешь.

Он помолчал.

— Я сначала думал — уезжают. Потом понял: стирают.

— Кто?

— Порядок. — Он пожал плечами. — Это их работа. Держать опись в чистоте.

— А зачем?

— Потому что порядок. — Родион усмехнулся. — Если в описи ошибка — её убирают. А человек без записи — это ошибка.

Санька смотрела на доску у столба.

— А ты их стираешь?

Родион долго молчал.

— Я записываю, — сказал он. — А стирают другие.

— Это одно и то же.

— Нет.

— Почему?

Он достал из-за пазухи тетрадь.

Тонкую, в серой бумаге, с обтрёпанными углами.

— Потому что я веду вторую, — сказал он.

Он раскрыл.

Санька не умела читать, но видела: страницы были исписаны мелко, в столбик, имя под именем.

— Сколько их?

— Не знаю. — Он пожал плечами. — Тысячи.

— Зачем?

Родион долго молчал.

— Сам не знаю, — сказал он. — Может, чтобы помнить. Может, чтобы однажды кому-нибудь отдать.

Он посмотрел на Саньку.

— Тебе, например.

Санька смотрела на тетрадь.

— А если узнают?

— Тогда меня вычеркнут. — Родион закрыл тетрадь. — И меня, и жену, и детей. Всю семью.

Он помолчал.

— Я поэтому и живу один.

Вельга села рядом.

— Родион.

— Тот поход. Расскажи.

Он помолчал.

— Двадцать лет назад в Крае открылась дверь, — сказал он. — Не спрашивай, какая. Я не знаю. Знаю, что оттуда пошло.

— Что пошло?

— Край. — Он пожал плечами. — Трава серая, звук пропадает, люди забывают.

Он вздохнул.

— И был человек. Его звали... — он задумался, — никак не звали. В книгах его не было.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.